*Автор: Есельсон.С*

*Любовь милосердствует...*
*(Новый Завет, Первое Послание к Коринфянам*
*св. ап. Павла, гл. 13)*

Что за прелесть наше время! То человек со звучным названием «видный политтехнолог», сверкая очками и рыжим пиджаком, убежденно рассказывает мне, что он исповедует философию постмодернизма, а, значит, запросто может совместить нос Владимира Сергеевича, подбородок Сергея Ильича, бицепсы Ромуальда Трофимовича, ум Георгия Георгиевича, мужские достоинства Шона О'Коннори, добродетели всех вместе оптинских старцев и деньги Романа Абрамовича.

То человек с милым и скромным названием «психотерапевт» клянется мне, что может запросто заменять духовника, потому как «люди отпали от Бога, а ведь потребность есть, есть ведь», — а у него нравственная силища — силищу-то куда девать?

Он пришел ко мне встревоженный и за стаканчиком аперитива: «Знаешь, брат, ко мне повадился клиент. Милый, скромный, робкий, нерешительный, словом. Нравится ему, понимаешь, женщина — красавица, невеста — на выданье, одинокая с его работы, начальница. Она, по всему видно, обжегшаяся, ждущая, уже почти безнадежно, стройного молодого принца на белом коне. И тут он. Но он — вылитый Карандышев из «Бесприданницы», или «Жестокого романса», если хочешь, грезит лишь как в постель ее затащит, да как все увидят, как идет он с такой красавицей-раскрасавицей, «мисс Вселенная». При том признавался мне, что не любит ее нисколечко и никакими своими удовольствиями ради нее пожертвовать не может. Сердце его не йокает, и просит он меня помочь ее полюбить, но при этом попотеть не хочет, от того, чтобы ради нее какими-нибудь своими удовольствиями пожертвовать, отлынивает». — «Ладно, а чего он тебя так взволновал, клиент эдакий. Случай ординарный, описан в великой русской литературе, сам вспомнил, клиент как клиент. Тебе-то что?» — Он промолчал. — «Что, что — конь в пальто. Молодость свою вспомнил. Незалеченный грех. Вот».

Так началась моя встреча с этой историей.

* * *

За что любят в нашем народе свадьбы?! За то, что там завязываются новые браки. Завязываются, конечно, на небесах, но как-то хорошо получается, когда на чужих свадьбах. Помню, совсем недавно одна студентка мне объясняла, почему она что-то не

успеет сделать в срок... С восторгом в голосе, с блеском в глазах. «Я буду на свадьбе. Я приглашена на свадьбу» — «Дело, конечно, хорошее. Ну и что, собственно говоря?» — «Как вы не понимаете, — с сожалением посмотрела она на меня, — хороший знак».

Вот и наши герои познакомились на свадьбе. На свадьбе друзей. Дело было в тридевятые советские времена, свадьба была в другом городе, поздней осенью. Авиация тогда по-дурному не рисковала. Аэропорт закрыли. И все. Надолго и прочно. Густой туман окутал землю. Он бросился на вокзал. Оставался единственный поезд, который позволял успеть к свадьбе. И ему достался единственный билет. Как часто это бывало в его жизни. Герой был не только не суеверный, но и вообще атеист. Не заметил приметы, но запомнил. Где-то отложилось, записалось на заднике сознания. Поезд шел и шел через туман. Весь путь в тумане. Это вспомнилось потом, через десятилетия.

И сейчас это был стройный мужчина — мальчик с нервической манерой и грустинкой в дымчатом, подернутом поволокой взоре. Можно представить его тогда!..

Он приехал в последний момент, но вовремя. Он многое делал в последний момент, искушал судьбу. Успевал, успевал, но боялся, что как-нибудь удача кончится, карта уйдет из рук, и он опоздает. «Знаешь, — говорил он мне, — опаздывать я все-таки начал, и сразу по-крупному, накапливалось, накапливалось и прорвало». Но тогда еще все было ОК.

Ах, это была обворожительная свадьба — свадьба на четырех. Он, как увидел свидетельницу, сразу зачаровался. «Я, — говорил он мне, — даже и мечтать никогда не смел о таких женщинах».

Молодожены снимали угол, где не было места для гостей. Потому свадьбу продолжили на квартире у свидетельницы. Тут и оказалось, что у нее ни мужа, ни детей, сплошная одинокая свобода.

У них ничего не было, — как может что-нибудь сразу быть у двух взрослых, уважающих себя людей?! Но какая-то сладкая истома нахлынула на его сердце и томила его всю дорогу назад. И назад тоже путь был сквозь туман. Он мне как-то даже загадку загадал: «Впереди туман, позади туман, а в середине — обворожительные глаза. Что такое?». Я отвечал: «Не знаю». А он мне: «Кризис середины жизни».

Стал наш герой у нее останавливаться, когда бывал в командировках в их городе, звонил, спрашивал: «У тебя переночевать можно будет?» Сначала волновался сильно, потом перестал — всегда ответ был: «Приезжай». Он приезжал к ней вечером, не слишком поздним, сидел, смотрел, как она лепит пельмени, помогал молоть кофе на замечательной мельничке и услаждался беседою. Голос ее был всегда ласков и певуч.

Он был несчастен браком — невеста когда-то внезапно поставила ему ультиматум перед свадьбой. «Я, мол, рода знатного, а ты — захудалого, посему ребенок наш, коли быть ему, будет носить фамилию рода знатного материнского именитого». Так, слегка фиглярствуя, излагал мне герой суть происшедшего с ним. В общем, он согласился,

скрипя душой, в надежде, что все рассосется само собой, как ложная беременность, но ничего не устаканилось; он решил потом не выполнять условия ультиматума, потом, пожалев заболевшую жену, выполнил, потом получил проклятье отца как прерыватель фамильного древа. Словом, было герою нашему в браке холодно. Он исполнял обязанности. Но зачем? К чему? Ради чего? И чего ради?

Однажды он приехал в какую-то командировку в райцентр ее области. Приехал к ней домой вечером, наутро уезжал на место. Утром она дала ему тормозок — термос с хорошим чаем, бутерброды и булочки, которые сама испекла. Почему-то тормозок этот врезался к нему в память на десятилетия. Он начал сопротивляться: «Зачем это?», она: «Возьми. Долго ехать. Приедешь — когда еще поешь». Сказала просто, без тени жеманства. Стояла на лестнице, сложив руки по-особенному. Так, наверное, провожали на работу своих мужей ее мама, бабушка и прабабушка, фабричные женщины.

По вечерам они подолгу разговаривали по междугороднему телефону. Они рассказывали друг другу о текущих делах, о прочитанных книгах, о новостях, о всякой всячине. И речи их услаждали слух друг друга. Однажды они сходили в кино и, по возвращению, посередине оживленной беседы, он попытался ее поцеловать. Она отстранилась: «Зачем это?»

С его приездами в ее дом входили цветы и оживление.

Как-то раз у него лопнула резинка в спортивных шароварах, и он попросил иголку и нитку — их зашить. Иголку и нитка она не дала, а зашила сама. Это зашивание шаровар все решило для нее. Ночью она к нему пришла. Со словами: «Чему быть, того не миновать».

Позже она рассказывала, что была как сомнамбула, и ноги сами несли ее к нему.

Он был уверен, что любит ее. Сердце его замирало от ее голоса, а вкус ее губ долго жил в нем мягкой радостью.

Долго он учил ее говорить слово «люблю». «Очень просто — повторяй за мной «люблю». Долго она опасалась: «Это не любовь, это что-то другое, может быть, только влечение — должно быть что-то большее».

Как-то она надолго задержалась на работе — мобильных телефонов в те времена не было, позвонить было некуда. Он ждал ее со все нарастающим напряжением и мыслью: «Вот, пропадет она куда, что мне делать, куда обращаться, кому и как объяснять, кто я и почему я здесь». И тут же испугался этой мысли.

Он неизменно говорил ей: «Я на тебе женюсь», — и сам верил в это. Но сердце его постепенно становилось спокойнее, размереннее.

Прошло несколько месяцев, и от нее пришло письмо в стихах — признание в любви. Ему никто и никогда стихов не писал и не посвящал. Он просмотрел письмо и положил в

ящичек для переписки — сердце его не вздрогнуло.

Она говорила, ему, друзьям, близким: «Я долго отвергала простое и все ждала принца на белом коне — и дождалась».

Что угасило его сердце? Может быть, ложь? Он лгал жене своим умолчанием. А перед ней делал вид, что знать не знает жены постылой.

Холод проник в его сердце, словно это было сердце Кая после укуса снежной королевы.
Но он закусил удила: «Раз обещал — значит, выполню», — ему хотелось быть хорошим в плохой игре.

Он подал на развод. Но холод в сердце от этого не растаял. В нем жило понимание, что она хороший человек, что лучшей женщины ему вовек не сыскать, но это понимание ничего не меняло.

Как-то она позвонила и сказала, мол, «такое дело, я беременна, зайчонок должен родиться, я чувствую». Что он мог сказать при встрече? Он сказал правду. Наконец. Он сказал, что зачал ребенка, когда был «под шафе», вернувшись с дружной начальничьей посиделки, что в сердце его пустота и вселенский холод, сплошной млечный путь, что «давай все устроим так, чтобы нам работать вместе, делать вместе общее дело».

Она сказала: «Нет». Провожала его в той же беленькой шубке, в какой была, когда они встретились. Что он мог сказать ей, когда она кормила его, давясь слезами? Сказал, чтобы она подумала над его предложением.

Перед абортом она позвонила ему — он показаний своих не менял: был пьян при зачатии и чтобы она подумала о совместной работе.

Потянулись годы.

Внезапно в его жизни появился смысл — больной ребенок. Врачи в советское время, в основном, боялись валять дурку и тянуть деньги из пациентов в ситуации, которая им представлялась безнадежной. Врачи ему сказали правду — развели руками. И он обратился к экстрасенсам, в то время действующим подпольно, в порах общества.

Знаменитый медиум, демонстрировавший фантастические способности, гигант русской эзотерики, приехал в его город, взглянул на его ребенка и сказал: «Молись, твоему ребенку может помочь только молитва» — «Как молиться? И кому? Я ведь неверующий». Но гигант уже всё сказал.

Задача для него была подобна дзэн-буддистскому хлопку одной ладонью, о котором он где-то читал, кажется, в журнале «Химия и жизнь». Он не знал, как к ней приступить.

Ребенок любил вареный говяжий язык. Больной ребенок ел только то, что любил.

В советское время в российской провинции говяжий язык можно было купить только на рынке. В шесть утра. Когда туши доставлялись в мясные павильоны. Нужно было еще договориться с хозяевами о продаже языка, единственного языка продающейся туши.

Когда он вошел в мясной павильон, туда втаскивали очередную тушу. Опережая буквально на полшага других претендентов, он побежал к хозяину — тот кивнул, «хорошо, мол, когда разрубят — язык твой». Он стал ждать. Ранее майское утро. Тогда еще не объявили глобального потепления — ждать приходилось на холоде. Место для продажи было выделено как раз напротив входа в павильон — больших стеклянных дверей, распахнутых настежь и подпертых кирпичами — так что ждать приходилось еще и на сквозняке.

Он был человеком закаленным и не боялся ни холода, ни сквозняков. Но ему часто говорили: «Тебе не холодно, но на тебя холодно смотреть».

Так прошло не менее получаса. Он стоял возле прилавка первым, чтобы не упустить момент. И тут выяснилось, что человек, с которым он договаривался, вовсе и не хозяин, а помощник — брат, любовник, а может, просто односельчанин хозяйки. Он бегал, ругался с рубщиком, мельтешил, распоряжался; хозяйка же молча стояла рядом. Рубщик был один и с важным видом обслуживал не всех, а только тех, кто его чем-то и как-то уважил. Через час он подошел к неопытным хозяевам нашего героя и сквозь зубы разрубил тушу, а голову рубить не стал — и, бросив всё, величаво поплыл дальше по павильону. Торговля началась, пошла. А он все стоял и ждал. Хозяйка посмотрела на него, широко раскрыв свои голубые глаза: «Вам холодно? Вы чего-то ждете?» — «Да, язык мне обещали». Она обратилась к помощнику: «Вишь, человек продрог». Тот метнулся к рубщику, к ней, обратно к рубщику. Рубщик был неприступен. Тогда она сама пошла к рубщику, о чем-то спросила его — тот удивленно на нее взглянул и так и провожал долгим удивленным взором. Она вернулась от рубщика с огромным острым ножом, сама вырезала язык и положила его на весы: «Извините, пожалуйста». Он вышел из павильона деревянной походкой, совершенно ошалевший от происшедшего. И тут внутренние очи его открылись, и он вспомнил, с чьим взглядом широко раскрытых голубых глаз он встретился у прилавка — это был взгляд той, когда-то брошенной им женщины. И в этот момент в нем потекла молитва. Первая в его жизни. «Господи, зачем ты мир так устроил, зачем меня так устроил». — Он просил о ребенке и просил о ней. — «Помоги, устрой ее жизнь, сделай что-нибудь», — он даже не просил, он молил о том, о чем не имел ни малейшего представления. Он молил о пощаде. Я не знаю, как, но ты знаешь, сделай ребенка здоровым, а ее счастливой. Будь милостив, сделай. Пожалуйста».

Когда он принес язык, то у ребенка температура впервые за долгое время оказалась нормальной, перестали болеть живот и голова.

Шли годы. Как-то все устраивалось, что пункты назначения его командировок требовали проезда поездом мимо ее дома. Каждый раз голова крутилась и провожала взглядом что-то невидимое.

В те времена магазинов религиозной литературы не было. Библию мало кто искал, а если бы и искал, то днем с огнем не нашел бы. Как-то, по редкому случаю, он достал Новый Завет и начал читать.

Он ехал в автобусе через Москву от одного аэропорта до другого, дочитывая Евангелие. И вдруг нахлынуло чувство: «За что я ее распял?!» Все вспомнилось. Ни одного плохого слова от нее. Была счастлива их встречами, кормила, поила, слух ублажала, переживала за его неудачи, радовалась успехам, служила верой и правдой. Он вспомнил, как она мыла ему уставшие ноги и как массировала больную голову.

«За что я ее распял?!»

Как-то он сказал мне: «Знаешь, я через нее к Христу пришел, через сознание и переживание того, что она приходила в мою жизнь, а я ее распял». — «Ладно, у тебя появилось чувство вины, когда воды столько утекло, и ты эту вину как-то искупал?» — «Понимаешь, в том-то и дело, что никак. Я как будто Богу ее поручил и забыл».

Встретились они очно один раз, на юбилее бракосочетания друзей.

Друзья оставили их наедине на кухне. Она сильно постарела, но была словно окутана каким-то белым сиянием. Он сказал, что она словно в сиянии каком, будто монашенка. Она смотрела на него долгим ошеломленным взглядом, а потом медленно сказала, что не то ожидала от него услышать.

В ту единственную очную их встречу он вдохновился и что-то вещал, кажется, про то, что в этой жизни мы путники, и наш путь — от рождения до Страшного Суда, что по итогам жизни будет суд, и достаточно только это знать, чтобы жить. Она слушала молча, сначала с недоверием, а потом уже зачарованно — как кролик слушает удава.

Он ушел с чувством тяжести.

Прошло лет пять, и он прочел где-то, что мало покаяться перед Богом, надо еще и перед человеком извиниться. От этой мысли ему почему-то становилось жарко и потно. Однажды на глаза ему попалась старинная записная книжечка и там следы от небрежным карандашом записанного телефона. Телефон, тем не менее, вспыхнул в памяти, но на пароль не последовал отзыв, и он погас. Навеки.

«Брат» не говорил, какой помощи от меня ждет. Складывалось впечатление, что он с этой историей не может оставаться один на один — нужен свидетель.

Как-то позвонил поздно вечером и попросил срочной встречи. Встретились на следующий день. Он на встречу влетел торжественно-торжествующе. Оказывается, друзья ему сообщили, что она ушла в монастырь.

Прошло еще несколько лет. Коллега начал подзабывать путь ко мне, хотя и любил мне повторять когда-то «врач, исцелися сам». Как-то на профессиональном

междусобойчике я спросил его сам. Он ответил: «С тех пор, как она в монастыре, — у меня камень с души слег. Стало спокойно и свободно жить. Знаешь, мне друзья как-то говорили, что у нее кровотечения по женской линии и онкология начиналась. Я тогда ужаснулся, подумал — последствия давнего аборта. Начал молиться о ней, записки подавать. После же ее ухода в монастырь успокоился».

Она умерла.

«Брат» пришел ко мне без звонка, без предуведомления. Как раз у меня выдался большой антракт между пациентами, и я лениво потягивал заваренный в french-press якобы чистокровный арабико. «Понимаешь, позвонили друзья. Готовься. Печальное событие. Она умерла. Умерла от рака. В монастыре. Не лечилась. Надеялась. Им говорила: «Зачем? Бог поможет». Он закурил, впервые на наших встречах. «Понимаешь, я ее дважды погубил. Дважды она мне поверила. Когда-то в молодости с замужеством. И, много лет спустя — с монастырем…» После долгой паузы продолжил. «Месяца четыре назад ехал ночным поездом из Питера в Москву. Билеты были только в вагоны СВ и на сидячие. Я купил на сидячие. Около меня на соседнем кресле сидела девушка, девушка как девушка. Сняла с ног туфли — ступни были натруженные, сильно побитые. Свет пригасили, и поезд стремительно двинулся сквозь сон пассажиров. В Москву. Вдруг слышу, какой-то шепот. Открываю глаза. Вижу, девушка смотрит на меня не мигая, в упор, широко открытыми глазами. В голосе испуг. «Простите меня, простите, пожалуйста, мне очень надо голову положить Вам на плечо. Простите, пожалуйста, сама не знаю, что это со мной, что это на меня нашло». Ее голова легла мне на плечо, и она тут же заснула, сладко посапывая и свернувшись калачиком на своем кресле. Это было прощание. «Когда ты понял?» — «Много позже, только сейчас. Но бессознательно тогда — утром посмотрел в глаза девушке — это были ЕЕ глаза».

Я думал, что он надолго замолчит. Но ошибся. Он разогрелся, глаза горели лихорадочным блеском мира героев Достоевского. «Вскоре приятель предложил мне халтурку — провести с ним тренинг для ресторана. Подвернулась подработка, что ж не подработать. Во время тренинга ему потребовалось уйти по срочным домашним надобностям, и он подсунул вместо себя свою ассистентку — напарницу. Приходит напарница, начинаем работать. И вдруг глаза мои открываются, и я вижу, что напарница — вылитая Она. Мы работаем, и я все время обращаюсь к напарнице, путая имена. Та сначала меня все поправляла, а потом плюнула и согласилась. Так мы и проработали вместе».

Он вскочил и нервно заходил по кабинету: «Понимаешь, шли ее сорок дней. Мы с ней работали вместе, когда шли ее сорок дней!».

Мы долго молчали. Он, наконец, выдохнул все из себя. Но это не было горе, это было что-то другое. «Ты к ней поедешь?». Он будто не слышал меня, начал ругаться на сестер женского монастыря в Шамордино близ Оптиной пустыни, где наверняка она покоится и где наверняка ее ухайдокали непосильными работами и неприятием помощи врачей. Он читал о тамошних нравах в какой-то газете, плюс ему о них рассказывал какой-то знакомый, через Патриархию вытаскивавший оттуда дочь-монахиню с

запущенной язвой желудка, которую никто там не собирался лечить. Он долго ругался. Потом внезапно сказал: «Поеду».

Он ехал к ней несколько лет. За это время я сам проехал маршрутом поездки, проехал в Оптину Пустынь и в Шамордино, попутно изучил разные мелкие подробности, вплоть до расписания автобусов в Козельске и стоимости местного такси до Шамордино. Чувствовалось, что на его ногах пудовые гири.

Я спросил его: «Чего откладываешь?» — «Сил нет».

Как-то мне попалась на глаза сказка «Илья Муромец» в ее старом, дореволюционном варианте. Там герой до 30 лет не мог ходить (ДЦП, полиомиелит или еще Бог знает что). В летний день сидел как-то на лавочке у дома, а дом тот стоял на окраине села. Родители были в поле. Вдруг видит, бредет из последних сил по дороге к селу старик. Доходит до их избы, за изгородь цепляется и просит: «Дай сынок, воды испить». И так ему стало неудобно старику тому объяснять, почему ему сложно того напоить, что он сполз со скамьи, прополз по пыльному двору до колодца, заполз на сруб, опустил ведро, наполнил водой, поднял, перелил воду в ковш, дополз с ковшом в руке до старика, поднялся по изгороди и протянул ковш старику. И начал ходить.

Рассказал я ему эту сказку, а назавтра он уехал.

Он нашел ее могилу не сразу и совсем не в Шамордино — зря ругался, грешил на шамординских сестер. Он сказал ей: «Прости». И уставился на даты таблички. Там датой рождения стояла дата рождения его матери, а датой смерти — день Рождества Богородицы. Он метался от кладбищенской церквушки к могиле и от могилы к кладбищенской церквушке. И все не мог поверить увиденному.

Он ждал ответа на свое «Прости». Но ответа не было. Несгибающимися ногами он добрел до такси.

Прошло еще полгода, и в день рождения своей матери он зашел в Храм, аккурат к началу панихиды. И вспомнил о ней, и заказал панихиду. И тут понял, что ему ее не отстоять, потому что его ждет мать и волнуется, ждет с продуктами и лекарствами, а он не может ей из Храма позвонить, что задерживается. И почувствовал тоскливое отчаяние. И вдруг услышал ответ: «Иди к матери своей. Иди, милый. Иди с Богом. Я на тебя миллион лет как не сержусь». И комок сухих застывших слез воем сорвался и прокатился у него в горле.

Он прислал мне электронной почтой вскоре короткий подарок и больше никогда ко мне не приходил